

А. Г.
ДОСТОЕВСКАЯ
ВОСПОМИНАНИЯ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

идет успешно и что роман посмеет вовремя, радовали Федора Михайловича и поднимали в нем дух. Я очень гордилась про себя, что не только помогаю в работе любимому писателю, но и действую благотворно на его настроение. Все это возвышало меня в собственных глазах.

Я перестала бояться «известного писателя» и говорила с ним свободно и откровенно, как с дядей или старым другом. Я расспрашивала Федора Михайловича о разных событиях его жизни, и он охотно удовлетворял мое любопытство. Рассказывал подробно о своем воемесечном заключении в Петропавловской крепости, о том, как переговаривался через стену стуками с другими заключенными¹². Говорил о своей жизни в каторге, о преступниках, одновременно с ним отбывавших свое наказание. Вспоминал о загранице, о своих путешествиях и встречах; о московских родных, которых очень любил¹³. Сообщил мне как-то, что был женат, что жена его умерла три года тому назад, и показал ее портрет¹⁴. Он мне не поправился: покойная Достоевская, по его словам, снималась тяжко больной, за год до смерти, и имела страшный, почти мертвый вид. Тогда же я с удовольствием узнала, что бесцеремонный молодой человек, который мне так не понравился, не сын Федора Михайловича, а его пасынок, сын его жены от первого брака с Александром Ивановичем Исаевым. Часто жаловался Федор Михайлович и на свои долги, безденежье и тяжелое материальное положение. В дальнейшем мне пришлось даже быть свидетельницей его денежных затруднений*.

Все рассказы Федора Михайловича носили такой

* Как-то раз, прияя заниматься, я заметила исчезновение одной из прелестных китайских ваз, подаренных Федору Михайловичу его сибирскими друзьями. Я спросила: «Неужели разбили вазу?» — «Нет, не разбили, — ответил Федор Михайлович, — а отнесли в заклад. Экстремно понадобились двадцать пять рублей, и пришлось вазу заложить». Дня через три та же ученье постигла и другую вазу.

В другой раз, кончив стенографировать и проходя через столовую, я заметила на накрытом для обеда столе у прибора деревянную ложку и сказала, смеясь, провожавшему меня Федору Михайловичу: «А я знаю, что вы сегодня будете есть гречневую кашу». — «Из чего вы это заключаете?» — «Да гляди на ложку. Ведь, говорят, гречневую кашу всего вкуснее есть деревянной ложкой». — «Ну и ошиблись: понадобились деньги, я и послал заложить серебряные. Но за разрозненную дюжину дают гораздо меньше, чем за полную, пришлось отдать и мою».

К своим денежным затруднениям Федор Михайлович всегда относился чрезвычайно добродушно. (Примеч. А. Г. Достоевской.)

что она постоянно ставила мне в пример во всем первую жену Федора Михайловича, что было довольно бесстыдно с ее стороны.

Но если постоянные наставления и слегка покровительственный тон Эмилии Федоровны были для меня не приятны, то уж совсем нестерпимыми оказались мне те дерзости и грубости, которые позволяли себе в отношении меня Павел Александрович.

Выходя замуж, я, конечно, знала, что пасынок Федора Михайловича будет жить с нами. Кроме того, что средств не хватало на его отдельное житье, Федору Михайловичу хотелось иметь на него влияние, пока не установится его характер. По молодости лет, мне не представлялось неприятным это пребывание совсем чужого для меня человека в новой моей семье. К тому же я думала, что Федор Михайлович любит своего пасынка, привык к нему и что для него тяжело будет с ним расстаться, а потому и не хотела настаивать на отдельном его житье. Напротив, мне казалось, что присутствие моего сверстника * только оживит дом, что он ознакомит меня с привычками Федора Михайловича (многое из них было мне неизвестно), и таким образом мне придется не очень нарушить привычную для него жизнь.

Не скажу, чтобы Павел Александрович Исаев был глупый или недобрый человек. Главная его беда заключалась в том, что он никогда не умел понимать своего положения. Привыкнув с детства видеть от всех родных и друзей Федора Михайловича доброту и любезность, он принимал это как должное и никогда не понимал, что это дружелюбное к нему отношение проявляется не столько ради его самого, сколько ради Федора Михайловича. Вместо того чтобы ценить и заработать любовь расположенных к нему лиц, он поступал так необдуманно; относился ко всем так небрежно и свысока, что только огорчал и раздражал этим людей **. Особенно много

* Павел Александрович был на несколько месяцев моложе. (Примеч. А. Г. Достоевской.)

** Приведу характеризующий Павла Александровича случай. Когда мы вернулись из-за границы, Павел Александрович стал просить Федора Михайловича устроить его на службу в Волжско-Камский банк. Федор Михайлович просил об этом Евг. Ив. Ламанского, и Павел Александрович получил место сначала в Петербурге, а потом в Москве. Здесь он многим в банке наговорил о том, что его «отец» Достоевский «дружен» с Ламанским и что вообще у него большие связи. Как-то Ламанскому, проездом через

неприятностей перенес от Павла Александровича (ради Федора Михайловича, конечно) глубокоуважаемый Аполлон Николаевич Майков, ставшийся в хорошую сторону направить его мысли и поступки, но, к сожалению, безуспешно.

Точно так же небрежно и свысока относился он и к своему отчиму, хотя постоянно называл его «отцом», а себя «сыном» Достоевского. Сыном Федора Михайловича он не мог быть потому, что родился в 1845 году⁴⁰ в Астрахани, а Федор Михайлович до 1849 года не выезжал из Петербурга⁴¹.

Живя с двенадцати лет у Федора Михайловича и видя его к себе доброту, Павел Александрович был глубоко убежден, что «отец» должен жить исключительно для него, для него же работать и доставлять деньги; сам же он не только не помогал Федору Михайловичу в чем-либо и не облегчал ему жизнь, но, напротив, своими необдуманными поступками и легкомысленным поведением часто его очень раздражал и даже доводил, как говорили близкие, до припадка. Самого Федора Михайловича Павел Александрович считал «отжившим стариком», и его желание личного счастья казалось ему «нелепостью», о чем он открыто говорил родным. На меня у Павла Александровича сложился взгляд как на узурпатора, как на женщину, которая насильно вошла в их семью, где доселе он был полным хозяином, так как Федор Михайлович, будучи занят литературной работой, конечно, не мог заниматься хозяйством. При таком взгляде понятна злоба его на меня. Не имея возможности помешать нашему

Москву, случилось посетить Волжско-Камский банк. Как управляющий Государственным банком, Е. И. Ламанский представлял собою большую финансовую силу, и его торжественно встретили в банке. Узнав о его приезде, Павел Александрович отправился в зало, где собирались директора, подошел к Ламанскому, протянул ему руку и произнес: «Здравствуйте, Евгений Иванович, как поживаете? Вы меня, кажется, не узнали? Я — сын Достоевского. Вы меня видали у папы». — «Извините, я вас не узнал, вы очень изменились», — ответил Ламанский. «Дело к старости идет», — рассмеялся Павел Александрович, — да и вы, батенька, изменились порядочно! — и при этом самым любезным образом похлопал Ламанского по плечу. Ламанский покоробился, но, как веселый человек, спросил, как здоровье Федора Михайловича. «Ничего, скрипит себе старикашка!» — ответил Павел Александрович. Тут уж Ламанский не выдержал и отвернулся. Можно себе представить, как этот бесцеремонный поступок Павла Александровича повлиял на мнение его начальства. (Примеч. А. Г. Достоевской.)

брау, Павел Александрович решил сделать его для меня невыносимым. Весьма возможно, что всегдашними своими неприятностями, ссорами и наговорами на меня Федору Михайловичу он рассчитывал поссорить нас и заставить нас разойтись. Неприятности со стороны Павла Александровича были небольшие каждая сама по себе, но они были бесчисленны, и так как я знала, что они делаются с намерением меня рассердить и оскорбить, то я, конечно, не могла не обращать внимания и не раздражаться. Например, Павел Александрович взял привычку каждое утро послать куда-нибудь горничную: то купить папироc, то доставить письмо приятелю и дождаться ответа, то отнести портному и т. п., и почему-то приходилось посыпать очень далеко от нашей квартиры, так что бедная Федосья^{*} хоть и была легка на ногу, но опаздывала к вставанию Федора Михайловича и не успевала убрать его кабинет. Федор Михайлович был чрезвычайный любитель чистоты и порядка, а потому сердился, если находил кабинет неупорядоченным. Делать нечего, приходилось мне самой брать щетку и убирать его кабинет. Застав меня раз за этим занятием, Федор Михайлович сделал мне реprimанд, сказав, что это дело Федосьи, а не мое. Когда Федосья отказывалась идти куда-нибудь далеко по делу Павла Александровича, говоря, что ей надо убрать комнаты, иначе, пожалуй, «забранит барышня», то он ей говорил, не стесняясь тем, что я сижу в соседней комнате:

* Эта Федосья была страшно запуганная женщина. Она была вдовою писаря, допившегося до белой горячки и безжалостно избившего. После его смерти она осталась с тремя детьми в страшной нищете. Кто-то из родных рассказал об этом Федору Михайловичу, и тот взял ее в прислугу со всеми ее детьми: старшему было одиннадцать лет, девочке — семь, а младшему — пять. Федосья со слезами на глазах рассказывала мне, еще невесте, какой добрый Федор Михайлович. Он, по ее словам, сидя ночью за работой и засыпая, что кто-нибудь из детей кашляет или плачет, придет, закроет ребенка одеялом, успокоит его, а если это ему не удастся, то ее разбудит. Эти заботы о ее детях и я видела, когда мы поженились. Так как Федосья несколько раз случалось видеть припадки Федора Михайловича, то она страшно боялась и припадков, и его самого. Впрочем, она всех боялась: и Павла Александровича, на него кричавшего, и, кажется, даже меня, которую никто не боялся. У Федосьи, когда она выходила на улицу, всегда был зеленый дрападамовый платок, тот самый, который упоминается в романе «Преступление и наказание», как общий платок семьи Мармеладовых. (Примеч. А. Г. Достоевской.)

— Федосья! Кто здесь хозяин: я или Анна Григорьевна? Ты понимаешь? Ну, так отправляйся, куда посылают!

На мелкие каверзы Павел Александрович был неистощим: то выпьет сливки перед выходом Федора Михайловича в столовую, и приходится покупать их на скорую руку в лавочке и, конечно, плохие, а Федору Михайловичу — ждать своего кофе. То перед самым обедом съест рыбчика, и вместо трёх подается два, и их не хватает. То во всем доме исчезнут спички, хотя вчера еще было несколько коробок. Все эти недочеты страшно раздражали Федора Михайловича, и он кричал на Федосью, а Павел Александрович, наделавший эти беспорядки, пожимал плечами и говорил: «Ну, папа, когда хозяйством заведовал я, этих беспорядков не было!» Выходило так, что виновата в них я, вернее, моя бесхозяйственность.

У Павла Александровича была своя тактика: в присутствии Федора Михайловича он был ко мне необыкновенно предупредителен: передавал мне тарелки, бегал звать прислугу, поднимал салфетку, если я ее роняла, и пр. и пр. Федор Михайлович даже заметил раза два, что присутствие женского элемента и в особенности мое (с Достоевскими, с Катей и Эмилией Федоровной он обходился запанибрата) благодетельно действует на Павла Александровича, и манеры его мало-помалу исправляются.

Но достаточно было уйти Федору Михайловичу из комнаты, как Павел Александрович изменял свое обращение ко мне. То он делал мне при посторонних нелестные замечания по поводу моего хозяйствования и уверял, что прежде все было в порядке. То говорил, что я трачу слишком много денег, а деньги будто бы у нас «общие». То он изображал из себя жертву семейного деспотизма: он начинал разговор о тяжелом положении «сироты», который до сей поры жил счастливо в семействе и считался главным лицом. И вдруг чужой человек (это я-то, жена?) вторгается в дом, рассчитывает приобрести влияние и занять первое место в семье. Новая хозяйка начинает преследовать «сына», делать ему неприятности, мешать ему жить. Даже обедать он не может спокойно, зная, что за каждым куском, который он ест, следит негодящий подозрительный взор хозяйки. Что он вспоминает прежние счастливые годы и надеется, что они вернутся, что он не уступит своего влияния на «отца» и т. д.

и т. д. Молодые Достоевские не умели за меня заступиться, а старшие поднимали его на смех, но этим и ограничивалась их защита.

Чтобы не уступить мне своего влияния на «отца», Павел Александрович стал почти каждое утро ходить в кабинет Федора Михайловича, как только он придет читать свою газету. Иногда случалось, что тотчас слышался окрик Федора Михайловича, и Павел Александрович выскакивал из кабинета, слегка сконфуженный, говоря, что «отец» занят и он не хочет ему мешать. В другие разы он просиживал долго, возвращаясь с торжествующим видом и тотчас начинав что-нибудь приказывать трепещущей Федосье. Мне же, после этих бесед, Федор Михайлович всегда говорил: «Анечка, полно ссориться с Пашей, не обижай его, он добрый юноша!» Когда я спрашивала, чем же я обидела «Пашу» и на что он жалуется, Федор Михайлович отвечал, что «это такие все пустяки, что слушать их — уши вяннут», но что он просит моего снисхождения к «Паше».

Меня никогда спрашивали: неужели я, выслушивая ежедневные дерзости и грубости Павла Александровича, вида его бесцеремонное к себе отношение, зная, что он наговаривает на меня Федору Михайловичу, — я все молчала и не умела поставить Павла Александровича на настоящее ему место? Да, молчала и не умела! Не надо забывать, что хоть мне и стукнуло двадцать лет, но в житейском отношении я была совершенный ребенок. Я провела мою немноголетнюю пока жизнь в хорошей, ладной семье, где не было никаких осложнений, никакой борьбы. Поэтому некорректные поступки Павла Александровича в отношении меня изумляли, обижали и огорчали меня, но я, на первых порах, не сумела ничего сделать, чтобы их предотвратить. Да, кроме того, у Павла Александровича была особая манера: наговорить мне неприятностей и тотчас удалиться, не дав мне возможности ему возразить, а когда он опять появится, то я успею успокоиться, и мне не хочется начинать ссоры. К тому же я по характеру человек миролюбивый, и ссоры для меня всегда тяжелы. Да и что я могла предпринять: жаловаться на него Федору Михайловичу? Но и без того Павел Александрович постоянно на меня жаловался, а тут я примусь жаловаться на пасынка, — во что бы обратилась тогда жизнь моего любимого мужа? Мне же хотелось беречь его покой, хотя бы самой было тяжело.

Впрочем, мне была понятна досада Павла Александровича на перемену его привольной жизни, но мне представлялось, что ему надоест делать мне неприятности и что он поймет всю неделикатность его отношения ко мне, а если сам не поймет, то ему укажут на это родные Федора Михайловича.

И вот в таких-то неблагоприятных условиях проходили первые недели нашей брачной жизни: грубость и дерзости Павла Александровича, наставления Эмилии Федоровны, постоянное надоедливое присутствие неинтересных для меня лиц, мешавших мне быть с моим мужем, вечное беспокойство по поводу наших запутанных дел. Даже какая-то отчужденность, как мне казалось, от меня самого Федора Михайловича, зависевшая от обстановки нашей жизни, — все это страшно меня угнетало и мучило, и я спрашивала себя, чем же все это может кончиться? Применивая мой тогдашний характер, я вижу, что могло кончиться катастрофой. В самом деле, я безгранично любила Федора Михайловича, но это была не физическая любовь, не страсть, которая могла бы существовать у лиц, равных по возрасту. Моя любовь была чисто головная, идеяная. Это было скорее обожание, преклонение пред человеком, столь талантливым и обладающим такими высокими душевными качествами. Это была хватавшая за душу жалость к человеку, так много пострадавшему, никогда не видевшему радости и счастья и так заброшенному теми близкими, которые обязаны были бы отплачивать ему любовью и заботами о нем за все, что *он* для них делал всю жизнь. Мечта сделаться спутницей его жизни, разделить его труды, облегчить его жизнь, дать ему счастье — овладела моим воображением, и Федор Михайлович стал моим богом, моим кумиром, и я, кажется, готова была всю жизнь стоять перед ним на коленях. Но все это были высокие чувства, мечты, которые могла разбить наступившая суровая действительность.

Благодаря окружавшей обстановке для меня мало-помалу наступало время недоразумений и сомнений. То мне казалось, что Федор Михайлович уже меня разлюбил, что он понял, до чего я пуста, глупа и ни в чем не подхожу к нему, и, пожалуй, раскаивается в том, что женился на мне, но не знает, как исправить сделанную ошибку. Хоть я и горячо любила его, но гордость моя не позволила бы мне оставаться у него, если бы я убедилась, что он меня больше не любит. Мне даже представлялось,

что я должна принести ему жертву, оставить его, раз наша совместная жизнь, по-видимому, для него тяжела.

То я с искреннею грустью замечала, что я негодую на Федора Михайловича, зачем он, «великий сердцевед», не видит, как мне тяжело живется, не старается облегчить мою жизнь, а навязывает мне своих скучных родных и защищает столь неприязненно относящегося ко мне Павла Александровича.

То я грустила о том, что прошли те чудесные, полные очарования вечера, которые мы с ним проводили до свадьбы, что не осуществилась и, по-видимому, не может осуществиться та счастливая жизнь, о которой мы с ним мечтали.

Подчас мелькало сожаление о прежней моей тихой домашней жизни, где у меня не было горя и не приходилось грустить или раздражаться. Словом, много самых детских опасений и искренних печалей волновали меня; много неразрешимых сомнений представлялись моему еще незрелому уму. Ни правильных воззрений на жизнь, ни установившегося характера у меня еще не было, и это грозило бедой. Я могла не выдержать домашних неприятностей, вспылить, раздражить Федора Михайловича несновательными упреками и подозрениями и вызвать вспышку и с его стороны. Могла произойти серьезная ссора, после которой я, столь гордая, конечно, не осталась бы у Федора Михайловича. Надо припомнить, что я принадлежала к поколению шестидесятых годов и независимость, как и все тогда женщины, ценила выше всего. Сама сделать шаг к примирению я навряд ли бы решилась, несмотря на всю мою любовь к Федору Михайловичу. Я была еще детски тщеславна и не захотела бы выносить насмешек над собою Павла Александровича за принесенную мною повинную. Возможно, что и Федор Михайлович не захотел бы сделать первого шага к нашему примирению: навряд ли он меня тогда любил так сильно, как любил впоследствии. Его оскорбленная гордость, собственное достоинство, а отчасти и наговоры Павла Александровича могли на первых порах отклонить его от примирения. Недоразумения между нами, конечно, возрастали бы, и примирение оказалось бы невозможным. Вспоминая об этом времени, я с ужасом думаю, что могло бы произойти: ведь Федор Михайлович не мог со мной развестись, так как в те времена развод стоил громадных денег. Таким образом, Федору Михайловичу не пришлось

бы устроить счастливо свою дальнейшую жизнь и иметь семью, детей, как он о том мечтал всю свою жизнь. Несчастно была бы и моя дальнейшая жизнь: слишком много упований на счастье было возложено мною на союз с Федором Михайловичем и так горько было бы мне, если бы эта золотая мечта не осуществилась!

IV

ИЗВАБЛЕНИЕ

Но судьбе не угодно было лишить нас того громадного счастья, которым мы с Федором Михайловичем пользовались дальнейшие четырнадцать лет. Как теперь помню тот день, вторник на пятой неделе великого поста, когда в жизни нашей, неожиданно для меня, наступил поворот в благоприятную сторону. День этот начался обычными неприятностями: обнаружился какой-то пробел в моем хозяйстве, коварно устроенный Павлом Александровичем (чуть ли не исчезли карандаши или спички во всем доме), и Федор Михайлович сердился и кричал на бедную Федосью. Приходили столь наскучившие мне гости, и мне приходилось «угощать» и «занимать» их; Павел Александрович, по обыкновению, говорил мне дерзости. Федор Михайлович был особенно задумчив и уныл и почти со мною не разговаривал, что меня очень огорчало.

Вечером этого дня мы были званы к Майковым провести вечер. Зная это, наши гости ушли тотчас после обеда. Но от неприятностей целого дня у меня сильно разболелась голова и были так патинуты нервы, что я боялась, придя к Майковым, расплакаться, если речь зайдет о нашей семейной жизни. Поэтому я решила остаться дома. Федор Михайлович попробовал меня уговорить и, кажется, был недоволен моим отказом. Не успел Федор Михайлович уйти из дома, как явился ко мне Павел Александрович с упреками, что я своими кавказами раздражаю его «отца». Объявил, что он не верит моей головной боли, а думает, что я не захотела пойти, чтобы рассердить Федора Михайловича. Говорил, что Федор Михайлович сделал «колossalную глупость», женившись на мне, что я «плохая хозяйка» и много трачу «общих денег», и, в заключение, объявил, что, по его замечанию, за время нашего брака у Федора Михайловича усилились приступы и что в этом виновата я. Наговорив мне дерзостей, он тотчас же улетучился из дома.

Эта изумительная дерзость на этот раз была каплею, переполнившую сосуд. Еще никогда он меня не оскорблял таким жестоким образом, приписав моей вине даже усиление болезни. Я была обижена и огорчена до последней степени. Голова разболелась пуще, я бросилась в постель и стала горько плакать. Прошло, может быть, часа полтора, как возвратился Федор Михайлович. Оказывается, что, посидев у Майковых, он скучился по мне и вернулся домой. Видя, что в доме темно, Федор Михайлович спросил Федосью, где я?

— Они в постели, плачут-с! — таинственно сообщила ему Федосья.

Федор Михайлович встревожился и спросил, что со мною? Я было хотела скрыть, но он так упрашивал сказать, говорил так дружелюбно, что мое сердце смягчилось, и я, плача и рыдая, стала ему рассказывать, как мне тяжело живется, как меня обижают у него в доме. Говорила, что вижу — он меня разлюбил, перестал со мною советоваться, как прежде, говорила, как я огорчена и страдаю от этого, и т. п. Редко когда я так плакала, и чем более утешал меня Федор Михайлович, тем обильнее лились мои слезы. Все, что томило мое сердце, все мои сомнения и недоумения были высказаны мною с самою полной откровенностью. Бедный мой муж слушал и смотрел на меня с величайшим изумлением. Оказалось, что, видя чрезвычайную предупредительность Павла Александровича ко мне, он вовсе не подозревал, что тот позволяет себе оскорблять меня. Федор Михайлович дружески стал упрекать меня, зачем я не была с ним откровенна, зачем не жаловалась на пасынка, зачем сразу не поставила себя так, чтоб он не смел говорить мне дерзости. Уверял меня в своей горячей любви и удивлялся, как могло прийти мне в голову, что он меня разлюбил. В заключение признался в свою очередь, что и ему наша теперешняя суматошная жизнь страшно тяжела. И прежде у него бывали его молодые родные, но редко, так как им у него было скучно; теперь же их частые посещения он объясняет тем, что я с ними любезна и им у нас весело. Да и думалось ему, что молодое общество, веселые их разговоры и споры для меня самой интересны. Говорил Федор Михайлович, что сам тоскует о наших с ним прежних беседах и жалеет, что, благодаря постоянным гостям, эти беседы у нас не налаживаются. Говорил также, что последние дни был занят мыслью о

поездке в Москву, а теперь, после нашего разговора, окончательно решил ее осуществить. «Поедем мы, разумеется, вместе,— говорил Федор Михайлович,— мне хочется показать тебя моей московской родне. И Верочка (сестра) и Соня (племянница) с моих слов тебя знают, и мне хотелось бы, чтобы вы взаимно узнали и полюбили друг друга. К тому же у меня явилась мысль сделать попытку попросить у Каткова еще аванс и на эти деньги съездить с тобой за границу. Помнишь, ведь это была наша с тобою мечта! А что, может, она и осуществится? К тому же я хотел поговорить с Катковым о моем новом романе. На письмах переговариваться трудно, то ли дело при личном свидании. А если и не удастся поехать за границу, то все-таки, вернувшись из Москвы, легче будет установить новый строй жизни, при которой не будет этой неприятной для нас обоих суматохи. Итак, в Москву! Согласна ты, Аничка?

О моем согласии нечего было и спрашивать. Федор Михайлович был так нежен, добр, мил, как бывал женихом, и все мои страхи и сомнения в его любви разлетелись, как дым. Чуть ли не в первый раз после свадьбы нам пришлось просидеть весь вечер одним, в самых дружеских и задушевных разговорах. Решили не откладывать поездки и выехать завтра же.

На другой день родные, и особенно Павел Александрович, были неприятно поражены известием о нашем отъезде, но, зная, что у Федора Михайловича приходят к концу деньги, и полагая, что он за ними едет, нас не отговаривали. Павел Александрович на прощанье не посыпался на колени и объявил, что «возьмет мое запущенное хозяйство в свои руки и приведет его в порядок». Я не обижалась и не противоречила: я была слишком рада возможности хоть на время избавиться от его преследований.

НАШ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

V ПОЕЗДКА В МОСКВУ

В четверг на пятой неделе, рано утром, мы приехали в Москву и остановились в гостинице Дюссо, которую особенно любил Федор Михайлович. Устав с дороги, мы решили за дела в этот день не приниматься, а ехать

те, тем не менее прислали просить, чтоб я громко не пла-
кала, так как это действует им на нервы.

Никогда не забуду я тот вечно печальный день, когда мы, отправив свои вещи на пароход, попали в последний раз проститься с могилкой нашей дорогой девочки и положить ей прощальный венок. Мы целый час сидели у подножия памятника и плакали, вспоминая Соню, и, осиротелые, ушли, часто оглядываясь на ее последнее убежище.

Пароход, на котором нам пришлось ехать, был грузовой, и пассажиров на нашем конце было мало. День был теплый, но пасмурный, под стать нашему настроению. Под влиянием прощения с могилкой Сонечки Федор Михайлович был чрезвычайно растроган и потрясен, и тут, в первый раз в жизни (он редко роптал), я услышала его горькие жалобы на судьбу, всю жизнь его преследовавшую. Вспоминая, он мне рассказал про свою печальную одинокую юность после смерти нежно им любимой матери, вспоминал насмешки товарищей по литературному поприщу, сначала признавших его талант, а затем жестоко его обидевших. Вспоминал про каторгу и о том, сколько он выстрадал за четыре года пребывания в ней. Говорил о своих мечтах найти в браке свое с Марьей Дмитриевной столь желанное семейное счастье, которое, увы, не осуществилось: детей от Марии Дмитриевны он не имел, а ее «странный, мнительный и болезненно-фантастический характер» * был причиною того, что он был с нею очень несчастлив. И вот теперь, когда это «великое и единственное человеческое счастье — иметь родное дитя» **⁸⁹ посетило его и он имел возможность сознать и оценить это счастье, злая судьба не пощадила его и отняла от него столь дорогое ему существо! Никогда, ни прежде, ни потом, не пересказывал он с такими мелкими, а иногда трогательными подробностями те горькие обиды, которые ему пришлось вынести в своей жизни от близких и дорогих ему людей.

Я пыталаась его утешать, умоляла его принять с покорностью ниспосланное нам испытание, но, очевидно,

* Этими же словами Федор Михайлович определил характер своей первой жены в письме к бар. А. Е. Врангелю от 31 марта 1865 г. — «Биография и письма». Материалы, с. 278. (Примеч. А. Г. Достоевской.)⁸⁸

** «Биография и письма». Материалы, с. 288. (Примеч. А. Г. Достоевской.)

¹ Имеется в виду роман «Игрок».

² Речь идет о пасынке Ф. М. Достоевского, сыне его первой жены М. Д. Исаевой — Павле Александровиче Исаеве. А. Г. Достоевская дает ему характеристику в письме к жене поэта А. Н. Майкова А. И. Майковой от октября 1867 г. (см.: «Достоевский в неизданной переписке современников». Публикация Л. Р. Ланского. — ЛН, т. 86, 408—409). Более подробно Анна Григорьевна рассказала о первой встрече с Достоевским в воспоминаниях «Первая встреча», написанных в 1883 г. (см.: «Неделя», 1971, № 38, 13—19 сентября. Публикация С. В. Белова).

³ Чтение приговора петрашевцам о смертной казни состоялось 22 декабря 1849 г. на Семеновском плацу в Петербурге. В момент произнесения команды к расстрелу первый ряд осужденных был привязан к столбу. Как писал в день казни Ф. М. Достоевский в письме к брату, он вместе с С. Ф. Дуровым и А. И. Плещеевым находился во втором ряду (см.: *Письма*, I, 128). В первом ряду стояли М. В. Петрашевский, Н. А. Момбетти и Н. П. Григорьев (см.: Д. Ахшарумов. Записки петрашевца. М.—Л., 1930).

⁴ Письмо от 22 декабря 1849 г. (*Письма*, I, 128—131), которое вернулся Ф. М. Достоевскому сын М. М. Достоевского, Михаил Михайлович Достоевский младший.

⁵ После смерти М. Д. Исаевой и М. М. Достоевского Ф. М. Достоевский был действительно «совершенно одинок и окружен кредиторами по журналам «Время» и «Эпоха» (ср. с. 75).

⁶ Роман «Игрок» первоначально был назван «Рулетенбург».

⁷ Долги по журналу «Эпоха» (а не «Время») остались после прекращения журнала, издававшегося в 1864—1865 гг. вместо запрещенного (в апреле 1863 г.) журнала «Время». После смерти М. М. Достоевского (в июле 1864 г.) Ф. М. Достоевский принял на себя ведение «Эпохи». Как сообщает Достоевский в письме к А. Е. Врангелю от 31 марта 1865 г., за журналом было тридцать три тысячи долга (см.: *Письма*, I, 396—403). См. об этом в кн. В. С. Нечаевой «Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». М., 1975.

⁸ А. Г. Достоевская имеет в виду издание Ф. Т. Степловским произведений А. Ф. Писемского и В. В. Крестовского на весьма невыгодных для них условиях, а также покупку Степловским всего за 25 р. сочинений М. И. Глинки у его сестры Л. И. Шестаковой в 1861 г. В 1866 г. между Степловским и Шестаковой начался долгий судебный процесс по вопросу о выполнении договора (отчеты о процессе печатались в газ. «Голос», 1867, № 136; «Петербургские ведомости», 1867, № 108, 136). По этому поводу Достоевский писал о Степловском А. Н. Майкову 19 марта (1 апреля)

1871 г.: «Денег у него столько, что он купит всю русскую литературу, если захочет. У того ли человека не быть денег, который всего Глинку купил за 25 центовых» (*Письма*, II, 338).

⁹ Об А. Н. Майкове, А. П. Милюкове и И. Г. Долгомостьеве см. примеч. 37, 39, 189.

¹⁰ Неточно. Воспоминания А. П. Милюкова были впервые напечатаны не в «Историческом вестнике», а в «Русской старине» (1881, № 3, 5), а затем вошли в кн. А. П. Милюкова «Литературные встречи и знакомства». СПб., 1890, с. 167—249. В своих воспоминаниях А. П. Милюков приводит такой диалог между ним и Достоевским:

«— А не хотите ли вот что сделать: соберемте теперь же нескольких наших приятелей; вы расскажете нам сюжет романа, мы наметим его отделы, разделим по главам и назначим общими сидами. Я уверен, что никто не откажется. Потом вы просмотрите и сгладите неровности или какие при этом выйдут противоречия. В сотрудничестве можно будет успеть к сроку: вы отдадите роман Степловскому и вырветесь из неволи. Если же вам своего сюжета жаль на такую жертву, придумаем что-нибудь новое.

— Нет, — отвечал он решительно, — я никогда не подпишу своего имени под чужой работой».

¹¹ Об отношениях Тургенева и Достоевского см. примеч. 69.

¹² Арестованный 23 апреля 1849 г. по делу петрашевцев Достоевский был заключен в Петропавловскую крепость и пробыл там до 24 декабря 1849 г., а затем был отправлен в Сибирь.

¹³ Имеется в виду семья Веры Михайловны Ивановой, любимой сестры писателя. Достоевский писал к ней и ее мужу, А. П. Иванову 1/13 января 1868 г.: «А кто же милее и дороже мне (да и Анне Григорьевне, кроме своих) — как не вы и ваше семейство?» (*Письма*, II, 66). О семье В. М. Ивановой см.: *Волоцкой*, 187—247.

¹⁴ Речь идет о Марии Дмитриевне Исаевой. О ней см.: Г. Прохоров. Романы Достоевского. — В кн.: «Литературно-художественный сборник «Красной панорамы», 1928, июль, с. 56—64; М. Л. Слоним. Три любви Достоевского. Нью-Йорк, 1953; Н. И. Якушин. Достоевский в Сибири. Кемерово, 1960; Л. П. Гроссман. Достоевский. М., 1962.

¹⁵ Анна Григорьевна, вероятно, имеет в виду письмо Достоевского к А. Е. Врангелю от 18 февраля 1866 г., так как письмо от конца 1866 г. неизвестно, а письмо от 18 февраля 1866 г. напечатано в *Биографии*, на с. 288. В нем Достоевский пишет А. Е. Врангелю: «...Вы, по крайней мере, счастливы в семействе, а мне отказалась судьба в этом великом и единственном человеческом счастье...» (*Письма*, I, 432).